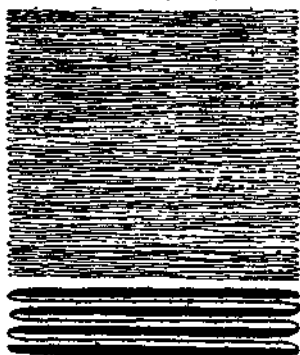


Сокровища Мировой
Литературы

Генрих Зейн

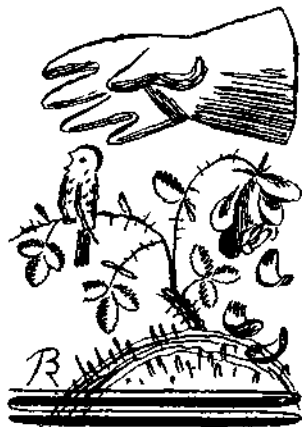
Стихотворения



Академия
Москва - Ленинград
1931

Герих Гейн

Тихотворения



Академія
Москва-Ленинград

1931



ИЕГУДА БЕН-ГАЛЕВИ**1**

«Пусть прильнет язык к гортани,
Пусть рука моя отсохнет,
Если только позабуду
Я тебя, Иерусалим!»

Все мне чудятся сегодня
Эти строки и напев;
Снова я как будто слышу
Пеньё стройное псалмов.

А порою вижу ясно
Ряд бород кудрявых, длинных,—
Кто меж вами, тени грез,
Иегуда бен-Галеви?

Но они мелькают мимо;
Страшен призракам бесплотным
Голос жителей земли;
И однако меж другими

Я узнал его — узнал
По челу с высокой думой,
По пыливости скорбящей
Глаз, вперившихся в меня.

Но особенно узнал
По загадочной улыбке
Губ, срифмованных так дивно,
Как поэтам лишь дано.

Годы быстро пролетают.
От рождения Иегуды
Бен-Галеви пролетело
Семь столетий с половиной.

В первый раз увидел свет
Он в Кастилии, в Толедо,
Где баюкали младенца
Волны Таго золотого.

Рано стал родитель строгий
Развивать ребенка ум;
Обучение он начал
Со священной книги, Торы.

Он читал ее ребенку
В тексте подлинном, древнейшем;

Шрифт ее древнехалдейский,
Символический, квадратный

И затейливый восходит
К детству мира; оттого
Каждый детский ум глядит
На него с такой любовью.

Этот подлиннейший текст
За отцом читал ребенок
Нараспев; таков обычай,
Установленный издревле.

И прелестно он картавил,
Звук гортанный повторяя,
И пускал при этом трели,
Заливаясь, точно птичка.

Также Таргум Онкелос,
Что написан на народном
Языке, который нынче
Называют арамейским

И который так походит
На язык святых пророков,
Как наречье наших швабов
С языком немецким схоже,

Рано выучил ребенок,
И потом знакомство это
Помогло ему прекрасно
В изучении Талмуда.

Да, с ребенком очень рано
Приступил отец к Талмуду;
Тут отверз он перед сыном
Величавую Халаху —

Эту школу фехтованья,
Где словесные атлеты
Вавилона, Пумпедиты
Упражнялись в состязаньи.

Здесь ребенок изощрился
В полемическом искусстве;
Это после доказал он
Сочинением «Козари».

Но как небо льет на землю
Два различных рода света —
Яркий свет дневного солнца
И мерцание луны, —

Как Талмуд блистает также
Светом двойственным, делясь
На Халаху и Хагаду.
Я сравнил Халаху с школой

Фехтовальной, а Хагаду
Назову хотя бы садом,
Бесконечно-фантастичным
И похожим на другой —

Тот, который точно так же
Взрос на почве Вавилона,
Сад — осьмое чудо в свете,
Дивный сад Семирамиды.

Эта славная царица
Воспиталась между птиц,
И, от них-то перенявши
Птичьи разные привычки,

Уж ходить не захотела
По земле, подобно нам,
Молоко сосущим тварям,
А взрастила сад воздушный.

На колоннах колоссальных
Возносились кипарисы,
Пальмы, клумбы, померанцы.
Изваянья и фонтаны.

И связал строитель мудрый
Все висячими мостами;

А на них, плещеподобных,
Птицы медленно качались,

Птицы важные, большие —
Мудрецы в одежде пестрой;
Не поют они, а только
Внемлют песням резвых пташек.

Все блаженствуют, вдыхая
Ароматный, чистый воздух,
Не отравленный зловонным
Испарением земли.

И Хагада — сад такой же,
Фантастический, воздушный.
Часто юный талмудист,
Запыленный, оглушенный

Словопреньями Халахи,
Важным спором о яйце
Роковом, что было в праздник
Снесено одной наседкой,

Или преньем о другом,
Равной важности вопросе,
Убегал для освеженья
В ароматную Хагаду,

В мир прелестнейших преданий,
Сказок ангельских, легенд,
Песен, мудрых притч, рассказов
О погибнувших за веру

И гипербол. Мир забавный,
Но скрепленный, но горящий
Чистой верой. О, как брызжет,
Как сверкает эта вера!

И ребенок благородный
Вдруг охватывался диким,
Фантастическим восторгом,
Непонятной жаждой скорби.

Баснословным содроганьем
Мира чудного, который
Мы великим откровеньем
И поэзией зовем.

Он вполне усвоил также
То, столь милое для сердца,
Безмятежное искусство,
Что зовем мы стихотворством.

И Иегуда бен-Галеви
Был не только муж ученый,
Но и мастер в стихотворстве,
И поэт великий тоже.

Был великим он поэтом
И звездой своей эпохи,
Был сияющим светилом
Для народа своего,

И, как огненный, огромный
Песнопенья дивный столп,
Он предшествовал в пустыне
Каравану скорбных братьев.

Песнь его была правдива
И чиста, и благородна,
Как душа. Когда господь
Сотворил Иегуды душу,

То, довольный сам собою,
Он ее облобызал,
И прелестный отголосок
Свыше данного лобзанья

Внятен сердцу в каждой песне
Лучезарного поэта,
Посвященного на царство
Этой божьей благодатью.

И в поэзии, и в жизни
Высший дар есть благодать;

Кто снискал ее, не может
Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого
Божьей милостью поэта
Гением. И в царстве духа
Царь самодержавный он.

Он дает отчет лишь богу —
Не народу. И в искусстве,
Как и в жизни, могут люди
Нас казнить, но не судить.

2

«На реках на вавилонских
Мы сидели и рыдали,
Прицепивши арфы к ивам» —
Помнишь древние слова?

И напев старинный помнишь,
Столь печальный по началу,
Что кипит, журчит и стонет,
Как сосуд на очаге?

Ах, во мне тысячелетья
Он кипит. О, бездна скорби!
Время только лижет рану —
Рану Иова, как пес.

Пес, спасибо за слюну!
Но она лишь прохлаждает;
Исцелить могла бы смерть,
Но, к несчастью, я бессмертен!

Годы идут и проходят.
На станке снует челнок;
Но и ткач того не знает,
Что выводит он на ткани.

Годы идут и проходят,
Льются слезы поколений,

Льются на землю — и тихо,
Жадно слезы пьет земля.

Все кипит сосуд, кипит!
Сбросил крышку! — слава мужу,
Чья рука твоих младенцев
Размозжит о камень ... Слава!

Наконец! Перекипел,
И теперь все тише, тише.
И замолк. Улегся сплин
Мировой мой, темный сплин.

И пегасик мой, как прежде,
Резво ржет, как будто сбросив
Злой кошмар, и умным взглядом
Вопрошает он меня:

«Что, поскачем вновь в Толедо
К молодому талмудисту,
Что великим стал поэтом —
К Иегуде бен-Галеви?»

Да, он был поэт великий,
Самодержец в царстве грез,
Повелитель мира духов,
Божьей милостью поэт,

Он в священные сирвенты,
Мадригалы и терцины,
Канцонеты и газелы
Вылил весь огонь души,

Поцелуй творца приявшей!
Смело этот трубадур
Может стать в ряду первейших
Провансальских трубадуров

Руссильона и Гиенны,
Пуату и прочих славных
Померанцевых земель
Удалого христианства!

Удалого христианства
Померанцевые земли!
Как блестят они, звенят
В полутьме воспоминанья!

Соловьиный чудный мир —
Мир, где всеми прославлялся,
Вместо истинного бога,
Ложный бог любви и муз.

Там, венками плешь увивши,
Пели клирики псалмы
На веселом *langue d'oc*;
А галантные миряне,

Франты-рыцари, красуясь
На конях своих высоких,
Строфы звучные слагали,
Прославляя даму сердца.

Где любовь, там дама сердца.
Миннезингер так же точно
Жить не мог без милой дамы,
Как без масла — бутерброд.

И герой легенды нашей,
Иегуда бен-Галеви,
Тоже даме поклонялся.
Но была иного рода

Эта дама: не Лаура,
Чьи глаза, земные звезды,
В церкви в пятницу страстную
Славный создали пожар;

Не владетельница замка,
В блеске молодости пышной
Председавшая в турнирах
И дарившая венки;

Не была она судьейю
По делам о поцелуях,

Не читала мудрых лекций
Ни в каких судах любви.

Нет, избранница раввина
В нищете жила, в печали,
Жалкий образ разрушенья!—
И звалась — Иерусалим.

Уж в младенчестве всецело
Он любил ее — и в трепет
Приводил, бывало, душу
Самый звук: Иерусалим.

С ярким пламенем на щечках
Слушал мальчик пилигримов,
Возвращавшихся в Толедо
С отдаленного востока

И рассказывавших грустно
О безлюдьи и о скверне
Месс, доселе сохранивших
Светлый след стены пророков,

Мест, где воздух весь налитан
Вечным господа дыханьем.
«О, печальная картина!» —
Раз воскликнул пилигрим

С бородою белоснежной,
Но в которой верхний волос
Вновь чернел, как будто снова
Молодела борода.

Это был какой-то чудный
Пилигрим; из глаз глядела
Скорбь несчетных поколений;
Он вздыхал: «Иерусалим!

Град святой и многолюдный
Превращен теперь в пустыню,
Где хозяйничают дерзко
Ведьмы, лешие, шакалы;

Там, в развалинах гнездятся
Змеи, филины и совы;
Из разбитого окошка
Смотрит весело лисица.

Там и сям порой мелькнет
Раб оборванный пустыни,
Что горбатого верблюда
Средь травы пасет высокой.

На Сионе благородном,
Там, где крепость золотая
Величаво говорила
О величии царя, —

Там теперь развалян груда,
Вся поросшая травкою,
И глядит она так грустно,
Так уныло, точно плачет.

И, действительно, рыдают
Раз в году, в девятый день
Аба месяца, те камни;
И, рыдая, сам я видел,

Как из тех камней сочились
Слезы каплями густыми,
И я слышал, как стонали
Храма сбитые колонны!»

Эти набожные речи
Пробудили в юном сердце
Иегуды бен-Галеви
Страсть узреть Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая,
Фантастичная, как та,
Что когда-то охватила
Благородного видама,

Жофруа Руделло; это
Совершилось, когда

Он от рыцарей, с востока
Возвратившихся, услышал,

Что краса и перл всех женщин,
Всех достоинств образец —
Молодая Мелисанда,
Маркграфиня в Триполи.

Всем известно, — к этой даме
Вспыхнул страстью трубадур;
Он воспел ее, и тесно
Стало в замке жить ему.

Стало тесно. И поехал
В Цетту он, но по дороге
Захворал и в Триполи
Умирающим приехал.

Тут узрел он Мелисанду
И телесными глазами,
Но над ними в ту ж минуту
Смерть простерла мрачный саван

И с последней песнью страсти
Испустил он дух у ног
Дамы сердца, Мелисанды,
Триполисской маркграфини.

Сходство чудное в судьбе
Этих двух поэтов! Только
С тою разницей, что первый
Старцем в странствие пустился.

И Иегуда бен-Галеви
Кончил жизнь у милых ног,
Преклонив главу в колени
К своему Иерусалиму.

3

После битвы при Арбеле
Александр, великий царь,

Насовал в свои большие
Македонские штаны

Земли Дария и войско,
Двор, гарем, коней и женщин
Деньги, вещи золотые,
Скиптр, корону и слонов,

А в шатре у Кодомана,
Убежавшего, чтоб тоже
Не попасть в штаны врага,
Юный царь нашел шкатулку

Небольшую, золотую
И украшенную пышно
Мозаикою, резьбою
И отделкой из камней.

В этом ящичке, который
Сам сокровищем являлся,
Дарий цвет своих сокровищ —
Лейб-каменя сохранял.

Отдал их своим солдатам
Александр и потешался,
Что игрушки эти взрослых
Веселили, как детей.

К милой матушке отправил
Он брильянт неоцененный;
Перстень Кира был печатью —
Брошкой сделался теперь.

Аристотелю седому
Он послал в подарок оникс
Для его больших коллекций
Разных редкостей земных.

Были в той шкатулке перлы —
Нитка чудная, когда-то
Подаренная Атоссе
Лже-Смердисом, самозванцем.

Перлы те, однако, были
Не лже-перлы, и веселый
Победитель их в подарок
Дал танцовщице Таис.

Украшали эти перлы
Косу чудную ее
В ночь, когда она вакханкой
В Персеполисе плясала

И швырнула дерзко факел
В царский замок, заблиставший
Ярким заревом пожара,
Точно пышным фейерверком.

Но прекрасная Таис
Жизнь скончала в Вавилоне
От болезни вавилонской,
И тогда все эти перлы

С молотка пошли в продажу.
Их купил мемфисский жрец
И привез с собой в Египет,
Где они потом лежали

На столе у Клеопатры.
Их толкла она и вместе
С винной влагою глотала,
Чтоб Антония дурачить.

Сын последний Омайядов
Их привез с собой в Кордову,
И они блистали ярко
На турбане у калифа.

Третий Абдерам украсил
Ими грудь на том турнире,
Где пробил он тридцать колец
И Зюлеймы юной сердце.

Вместе с царством мавританским
Перешли и эти перлы

К христианам и попали
К королям кастильским в руки.
На испанских государях
Красовались эти перлы
При торжественных турнирах,
Травлях, шествиях священных,

Также при ауто-да-фе,
Где величества с балконов
С наслаждением обоняли
Запах жареных жидов.

А потом Мендизабелем,
Внуком чорта, эти перлы
Были отданы в залог
Для покрытия дефицита.

Наконец, они явились
В Тюильри, в придворных залах,
И сверкали там на шее
Баронессы Саломон.

Так из рук ходила в руки
Эта нитка. Но с шкатулкой
Дело проще обошлось:
Александр ее оставил

Для себя и спрятал в ней
Песни дивного Гомера,
Своего любимца; ночью
Ставил он шкатулку эту

К изголовью, и оттуда
Появлялись герои,
Ликом светлые, и в грезы
Пробирались к Александру,

Век иной, иные птицы!
Ах, и я любил когда-то
Слушать песни о деяньях
Одиссея и Пелида.

Так пурпурно, лучезарно
У меня на сердце было,
Виноград венчал чело,
И вокруг гремели трубы!

Смолкни, вопль воспоминанья!..
В триумфальной колеснице
Все разбито! и пантеры,
Что везли ее, и девы,

Что вокруг меня плясали, —
Все издохли, да и сам я
Изувечен, пресмыкаюсь.
Смолкни, вопль воспоминанья!

Смолкни, вопль воспоминанья!
Речь повел я о шкатулке
И при этом вот что думал:
Будь моей шкатулка эта,

И не будь я приневолен
Обратить ее в монету,
Я бы в ней тотчас же спрятал
Песни нашего раввина

Иегуды бен-Галеви —
Песни радости, газелы,
Песни скорби и страданья.
Дал бы это все списать

Самым лучшим из цофаров
На пергаменте чистейшем
И в шкатулку золотую
Эту рукопись вложил,

И поставил бы шкатулку
Я на столик, у постели, —
И, когда б друзья, придя
В дом ко мне, дивиться стали

Чудной пышности ее
И резьбе миниатюрной,

Но тончайшей, и отделке
Из камней драгоценных,

Я сказал бы им с улыбкой:
Это что! — одна простая,
Скорлупа, а в ней сокрыта
Вещь гораздо драгоценней:

В этом ящике — брильянты,
Блеск которых — отраженье
Блеска солнца; в нем рубины,
Налитые кровью сердца;

В нем надежды благодатной
Изумруды; в нем и перлы,
Чище тех, что дал Атоссе
Самозванец Лже-Смердис, —

Перлов, после украшавших
Всех почетнейших особ
На земле подлунной нашей:
Клеопатру и Таис,

И служителей Изиды,
И монархов мавританских,
И испанских государынь,
И мадам фон-Саломон.

Эти диво-перлы — только
Бледно-матовый нарост
Бедной устрицы, лежавшей
Под волнами океана.

Но в моей шкатулке перлы
Из души прекрасной вышли —
Из души, неизмеримей
Самой бездны океана.

Эти перлы — слезы рабби
Иегуды бен-Галеви;
Ими он оплакал гибель
Своего Иерусалима,

Нанизались перлы-слезы
На златую нитку рифмы
И из кузницы искусства
Драгоценной песнью вышли.

Это песня слез жемчужных —
Тот всемирно знаменитый
Плач, который днесь поется
Под рассеянными всюду

Иудейскими шатрами
В день девятый Аба — день
Разрушенья грозным Титом
Стен святых Иерусалима.

Эта песнь — Сионский гимн
Что Иегуда бен-Галеви
Скорбно пел перед кончиной
На развалинах священных.

В жалком рубище, босой,
Там сидел он на обломке
Опрокинутой колонны,
И на грудь к нему спадали

Волосы, как дряхлый лес,
Фантастично оттеняя
Лик его печальный, бледный,
С вдохновенными очами.

Так сидел он там и пел,
Как пророк времен минувших
И казалось — из могилы
Встал старик Иеремя.

Внемля звукам дикой скорби,
Смолкли птицы меж развалин;
Даже коршуны с участием
Собирались вокруг певца.

Но по этой же дороге
Ехал дерзкий сарацин;

На седле качаясь гордо
Он пустил копьем блестящим
В грудь несчастного певца
И, свершив убийство, быстро,
Точно призрак окрыленный,
Полетел своей дорогой.

Кровь певца текла спокойно,
И спокойно песню скорби
Он допел, — и был предсмертный
Вздых его: Иерусалим!

Есть старинное преданье,
Будто этот сарацин
Был совсем не злой убийца,
А переодетый ангел,

Небом посланный за тем,
Чтоб отнять его любимца
У земли и в мир блаженных
Без мучений перенести.

Там, — гласит преданье это, —
Ожидал его прием,
Очень лестный для поэта, —
Ожидал сюрприз небесный.

Целым хором светлых духов
Был он с музыкою встречен
И приветствован, как гимном,
Рядом собственных созданий —

Этих чудных брачных песен,
Этих гимнов Гименею,
Полных страсти, ликования.
Что за тоны! что за звуки!

Стройно с песнями сливались
Трели скрипок, виолончелей,
И торжественно гремели
И литавры и кимвалы

И чудесно, гармонично,
В необъятной шири неба,
Отдавалось громким эхом:
«Лехо Дойди Ликрас Калтэ!»

4

Огорчил свою супругу
Я главою предыдущей
И особенно рассказом
О шкатулке Кодомана.

«Муж вполне религиозный,
Так она почти со злобой
Мне сказала: — ту шкатулку
Обратил бы тотчас в деньги,

И на них жене законной
Без сомнения купил бы
Шаль турецкую, в которой
Так нуждается она.

А Иегуде бен-Галеви
Чести было бы довольно
Сохраняться и в картонном,
Но хорошеньком футляре,

Разукрашенном изящно
Арабесками Китая,
Наподобье бонбоньерок
Из пассажа «Панорама».

Странно! мне еще ни разу
Не пришлось услышать имя
Знаменитого поэта —
Иегуды бен-Галеви!»

Друг ты мой прелестный! Это
Детски-милое незнание —
Доказательство пробелов
В воспитании французском

Тех парижских пансионеров,
Где девицам — им, грядущим
Матерям людей свободных, —
Крепко в голову вбивают

Старых мумий, фараонов,
Начиненных разной дрянью,
И бесплотных Меровингов,
И напудренных особ,

И украшенных косою
Богдыханов из фарфора.
Это все прилежно зубрят
Наши умницы, — но, боже!

Вы спросите их о славных
Иудейских стихотворцах
Золотого века школы
Аравитянско-испанской,

О созвездии блестящем:
Иегуде бен-Галеви,
Соломоне Габироле,
Моисее Ибен-Эсра,

И других великих людях, —
Эти умницы уставят
В вас глазенки с изумленьем
И не знают, что ответить.

Друг мой, я тебе полезный
Дам совет: еще не поздно,
Позаймись-ка ты еврейским,
Брось театры и концерты,

Позаймись хоть два-три года
И получишь ты возможность
Изучать в оригинале
Ибен-Эсру, Габироля

И, конечно, бен-Галеви —
Триумвиров песнопенья,

Извлекавших диво-звуки
Из чудесных струн Давида.

Алхаризи (ты, конечно,
И о нем не знаешь вовсе;
А ведь он, остряк французский,
Превзошел в своих макамах

Остроумием Гарири,
И задолго до Вольтера
Был уже вольтерианцем), —
Ну, так он-то говорил:

«Габироль — скорей философ.
Он мыслителю приятен;
Ибен-Эсра же в почете
У художника-поэта;

Но в Иегуде бен-Галеви
Оба свойства совместились;
И поэт великий он,
И любимец всех на свете».

Ибен-Эсра был приятель,
Даже родственник какой-то
Иегуды бен-Галеви, —
И Иегуда, в книге странствий

Говорит с глубокой скорбью,
Что в Гренаде тщетно друга
Он искал и только брата
Ибен-Эсры там нашел —

Рабби Мейера, поэта
И отца прекрасной девы,
Полонившей сердце Эсры
Безнадежной, пылкой страстью.

Чтоб забыть прелестный образ,
Он, как многие коллеги,
Взявши страннический посох,
Стал скитаться без приюта.

На пути к Иерусалиму
Был татарами он схвачен
И, привязанный к седлу,
Увлечен далеко в степи.

Там нести он начал службу,
Недостойную раввина,
А тем менее — поэта:
Стал доить коров татарских.

Раз, когда сидел, согнувшись
Он под брюхом у коровы
И выдавливал усердно
Молоко ее в кувшин —

Оскорбительная поза
Для раввина и поэта, —
Грусть глубокая напала
На него, и петь он начал.

Так прелестно, так волшебно
Пел поэт, что хан татарский,
Шедший мимо, был растроган
И рабу свободу отдал.

Подарил ему он также
Лисью шубу и большую,
Сарацинскую гитару;
Дал и денег на дорогу.

О, звезда злосчастий вечных!
Аполлона сыновей
Гонишь, гонишь ты — и даже
Их отца не пощадила;

Он, за Дафною погнавшись,
Вместо нимфы белоснежной,
Обнял только куст лавровый —
Он, божественный Шлемиль!

Да, божественный дельфиец
Был Шлемиль, — и эти лавры,

Увенчавшие так гордо
Лоб его, — шлемильства признак.

Слово самое «Шлемиль»
Нам давно уже известно:
Дал ему в отчизне нашей
Право гражданства Шамиссо.

Но его происхождение
Оставалось в темноте,
Как и Нильские истоки.
В размышлениях об этом

Проводил я часто ночи,
И в Берлине объясненья
У Шамиссо попросил —
У декана всех Шлемилей.

Он не в силах был ответить
И сказал: «Вам это может
Только Гициг объяснить;
От него узнал впервые

Я фамилию Шлемилия». —
Взял я дрожки и тотчас же
Прямо к Гицигу поехал.
Он когда-то звался Ициг,

Но во сне увидел раз,
Что на небе красовались
Буквы все его фамилии,
И пред ними буква Г.

«Что бы значила такое
Эта буква? — думал он: —
Господин ли Ициг, или
Горний Ициг? — Горний — это

Титул славный, но в Берлине
Неудобный». Наконец,
После долгих размышлений
Он назвался просто Гициг.

«Горний Ициг, — так сказал я:
Вы должны подробно мне
Объяснить происхождение
Слова древнего: Шлемиль».

Изворачивался долго
Горний муж; то так, то этак
Он отделаться старался
От ответа; наконец,

Все полопались застежки
У меня в штанах терпенья,
И я начал так ужасно
Проклинать, кричать, ругаться,

Что почтенный пиэтист
Побледнел, как смерть, затрясен
И немедленно представил
Мне такое объясненье:

«Нам из Библии известно,
Что, блуждая по пустыне,
Потешал себя Израиль
Ханаана дочерьми.

И случилось раз, что Пинхас
Увидал, как славный Зимри
Совершал прелюбодейство
С ханаанскою женою.

Он схватил копьё во гневе
И на месте преступленья
Умертвил тотчас же Зимри.
Так мы в Библии читаем,

Но словесное преданье
Сохранилось в народе,
Что копьем смертельным Пинхас
Поразил совсем не Зимри,

Но что, гневом ослепленный;
Он нечаянно другого

Заколел, — и эта жертва
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддей»

Значит, с ним, с Шлемилом Первым,
Начался весь род Шлемилей;
Первый наш родоначальник
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддей.

Никаким геройским делом
Он себя не обессмертил;
Нам одно о нем известно,
Что он был Шлемиль — и только,

Но деревьям родословным
Придают большую ценность
Не плоды, а только возраст.
В нашем — три тысячелетья.

Годы идут и проходят . . .
Три прошли тысячелетья
С той поры, как прародитель
Наш, Шлемиль бен-Цури, умер

Пинхас тоже спит в могиле,
Но копье его доньше
Сохранилось и над нами
Свищет гибельно порой,

Поражая лучших сердцем.
Пал под ним и Ибен-Эсра,
И Иегуда бен-Галеви,
Пал и вещей Габироль —

Этот, богом посвященный
Миннезингер, этот, полный
Чистой веры, соловей,
Чьею розой был всевышний!

Соловиной, нежной песнью,
Песнью пламенной любви,
Заливался он во мраке
Ночи средневековой,

Не страшась ни привидений,
Ни уродов, ни чудовищ,
Ни безумия, ни смерти,
Что блуждали в той ночи.

Соловей, он думал только
О своей небесной розе
И рыдал, и таял песнью
Славословья и любви.

Тридцать лет на свете прожил
Габироль; но слава быстро
Разнесла по всей вселенной
Имя громкое его.

По соседству с ним, в Кордове,
Поселился мавр; он тоже
Сочинял стихи и сильно
Стал завидовать поэту.

Каждый раз, при звуках песни
Габироля, закипала
В мавре желчь, — и сладость песни
Для него была польною.

И однажды он коварно
Заманил к себе поэта
И убил его, и труп
Закопал в саду, за домом.

Но на том же самом месте,
Где зарыл злодей поэта,
Вдруг смоковница возникла
Самой чудной красоты.

Плод ее был странно-длинен,
Странной сладости исполнен;
Кто вкушал его, пред тем
Мир волшебный открывался.

И пошли об этом диве
Шопот, толки, разговоры,

И дошли они до слуха
Пресветлейшего калифа.

Пресветлейший убедился
В диве собственноразлично
И тотчас же приказал
Все исследовать строжайше.

Судьи долго не возились
И смоковницы владельца
По пятам отдули тростью;
Он сознался в преступленьи.

Вслед за этим поспешили
Вырыть дерево с корнями,
И явился пред народом
Труп убитого поэта.

Схоронили Габироля
Пышно, с горькими слезами;
В тот же самый день в Кордове
Был повешен мавр-убийца.